

Geheimnisvoll am lichten Tag
Laesst sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Yebeln und mit Schrauben.

Goethe

Таинственно при свете дня,
С Природы девственной спадает
Сокрытый истины покров,
Чей смысл нежен и суров.
Твой слабый дух не в состояньи,
Ни этот скрытый смысл понять,
Ни рычагами, ни винтами,
Завесу тайны приподнять.

Göthe

Пер. с нем. В. Розенталя

История человеческих обольщений давно уже знает попытки понять все движение и развитие духовной культуры, как результат слепого, механистического взаимодействия материальных сил. Великие науки современности: физика, механика и химия охотно распространяют на всю действительность, в виде “рабочей гипотезы”, условное допущение, согласно которому всё, что происходит в окружающем нас мире, может быть рассматриваемо исключительно с материальной стороны, как будто бы кроме материальных процессов ничего более и не существовало. В этом методологическом самоограничении естествознания – источник его великих успехов, а также той точности выводов, которая так неотразимо пленяет человеческий ум, нашу логику твердых вещей, по выражению Бергсона.

Однако механический аспект мироздания очень быстро стал расширяться и далеко вышел из пределов скромного условного самоограничения. Уже физицизм XVII столетия, зачарованный успехами новой науки, стал явственно грезить о всеобъемлющем механистическом мирозерцании, которое должно было, под углом единой идеи, постичь и космос и мир человеческой культуры. Естествознание XIX в. пошло в этом направлении еще дальше. Материалистический монизм новейшей эпохи со всей надменностью догматиче-

ского самоутверждения предъявил свои права на исчерпывающее истолкование всей мировой действительности, во всем роскошном цветении ее красок, во всем “движении, блеске жизни вольной”. Пред ним возник неотразимый соблазн – распространить свою власть на весь космос и весь генезис космоса, понять всю неисследимую драму бытия, как пассивное отображение в некой – над миром вещей простертой – плоскости тех же самых слепых механистических движений материальных сил, на которые он разнимал все видимые физические явления. Когда назрела эта надменная воля к единообразному механистическому истолкованию бытия, пришел великий соблазнитель, который все громадное напряжение мыслительной энергии положил на то, чтобы доказать, будто все, что в человеческой культуре и истории дышит, живет, борется, стремится и развивается, – лишено истинного бытия, существует не само по себе, не от полноты присущей ему силы внутреннего развития, но, напротив, получает эту силу извне, от материальных – экономических – отношений и процессов, которые одни обладают истинным бытием и действительностью. Карл Маркс был этот соблазнитель, и, поистине, вред, причиненный его учением, был неисчерпаем. Под тусклым стеклом теории экономического материализма живая, трепетная плоть культурного процесса стала обращаться в мертвенный, скованный железными цепями механистического предопределения феномен. Духовная культура, духовное творчество, “сознание” стали не исконным, не главным, но чем-то вторичным, производным, реальностью второго порядка, послушным отпечатком на восковой табличке, цветами, вырастающими над темной целиной, где – во тьме и глубине – идут предопределенные механические синтезы и распады химического взаимодействия.

Метафизическая по существу и догматическая по методу, теория экономического материализма, завладев умами главным образом социал-демократической интеллигенции и полуинтеллигенции, поселившись на развалинах иных идеологий, приняла вскоре все черты своеобразной религиозной догмы или секты, застыла в огненной черте нетерпимости и фанатической уверенности в совершенной своей непогрешимости.

Это скорбное учение о культурном процессе, от которого веет унылым зноем восточного фатализма, вступившего в своеобразное сочетание с рационализмом современного естествознания, вызвало резкий отпор со стороны всех тех умов, для которых существо культурной эволюции заключалось именно в творчестве, т.е. в непредвиденном, непостижимом сплетении данного, определенного, завещанного предыдущим развитием, с новым, нечаянно обретенным в порыве творческого акта и потому неповторимым, своеобразным, индивидуальным. Стремление отстоять самобытность и автономную ценность духовного начала, которое творческим вмешательством своим, творческой активностью организует, пластически претворяет

ет и пересоздает стихию культурного опыта, борьба за индивидуальность, за творчество широко разлилась по Европе на протяжении последних десятилетий. Бергсон, Риккерт, Ласк и многие другие положили начало великому освободительному движению, смысл которого заключался в построении культурного опыта, а также индивидуальной и социальной активности, понятия основанного на более вдумчивом анализе феноменов культурного творчества.

И вот, в то самое время, когда волны великого философского движения докатились до скромных ступеней русской культуры и вступили в живое взаимодействие с глубоко родственными по существу течениями, шедшими из глубины самобытных традиций русской религиозной философской мысли, в это время история неумолимым мановением своим явила полный простор для деятельности тех, которые упорно продолжали провозглашать доктрину экономического материализма со всеми следствиями, вытекающими из нее по отношению к духовному творчеству.

Захватив в свои руки государственную власть, большевизм стал употреблять громадные усилия на то, чтобы в пределах коммунистического режима духовная культура не только не была ниже “буржуазной”, но чтобы, напротив, далеко оставила ее за собою, как по широте распространения, так и по внутренней значительности. Были отпущены бешенные, умопомрачительные суммы, была развита необычайно шумная и настойчивая культурно-просветительная агитация, были “мобилизованы” или, по крайней мере, намечались к государственной эксплуатации лучшие духовные силы страны (за вычетом, конечно, “неблагонадежных”, нежели “пролеткульты” и “коллегии искусств”). Большевистская власть проявила столько своеобразного рвения в деле насаждения духовной культуры, что мы уже давно вправе подвести итоги.

Основной смысл необычайного эксперимента, проведенного коммунистическими эстетиками и kulturtrager’ами, не выходит из рамок механистической доктрины экономического материализма. Было бы наивно думать, будто кипучая на взгляд деятельность “комиссаров науки и искусства” несла в себе залог освобождения от догматически пренебрежительного отношения к духовному творчеству, которым насквозь пронизана теория Маркса.

Так как исходной точкой коммунизма была “девственно-неприкосновенная”, ни в чем существенном не измененная механическая теория экономического материализма, то и самое создание новых – “пролетарских” – ценностей было задумано не как организация здоровых и свободных условий для творчества, не как раскрытие творческих, актуальных сил, таившихся в объятых вековой дремой невежества массах народных, не как любовное причащение великого темного народа к великой светлой культуре, созданной его лучшими гениями, но как, хотя и яростное, исполненное жгучей ненависти и узкой классовой нетерпимости, однако в существе своем не-духов-

ное, не-творческое, пассивное, механистическое отображение тех экономических и классовых отношений и противоречий, которые в губительной обостренности развернулись и в недрах народной жизни в годы революции.

В катехизисе коммунистических “оглашенных” первый и главный член символа веры возвещает вовсе не о том, что грядет и будет великое творчество, великое рождение и самораскрытие духа, но о том, что пришел час, когда должны, по роковому сцеплению материальных сил бытия, измениться экономические и классовые отношения, а потому неизбежно, сама собою, механически должна как-то измениться и культура: как грибы на упитанной дождем почве, вырастут новая – “пролетарская” – наука, новое – “пролетарское” – искусство и т.п. Поэтому все напряжение своей разрушительной работы и всю мучительную немощь положительной большевизм направил – как это ни странно – не на самую науку и не на самое искусство, но на нечто иное. Коммунизм, надеясь, что создаваемые им новые экономические отношения совпадают в точности с фатальными предначертаниями исторического процесса, не шел дальше монотонной пропаганды классовых идей, которые должны были “надстройкой” возвыситься над новой экономической базой, над новой экономической структурой государственного тела. «Дайте нам хорошую коммунистическую экономику, хорошую классовую борьбу, т.е. абсолютное, безостановочное расслоение общества на два беспощадно пожирающие друг друга стана, и, сама собою, независимо от воли нашей, вырастет “духовная” культура, в послушном зеркале которой непогрешимо точно отразятся «духовные (т.е. “классовые”, а в конечном счете те же экономические – материальные) ценности пролетариата».

Так сложилась эта беспредельная в своем фаталистическом оптимизме вера – не в чудо (ибо чуда нет в том, что неотвратимо идет из лона материальной данности бытия), не в творчество – ибо нет творчества в том, что механически порождается извне), но в “разумное”, отвечающее реальным условиям экономической действительности “устройство” культурного творчества.

Только учитывая момент, можем мы понять то поистине олимпийское спокойствие, с каким вожди коммунистической духовной культуры взирали на ужасающую, еще на Руси невиданную, бездарность всех этих бесчисленных “пролетпоэтов”, “пролетхудожников” и “пролетмузыкантов”, жадной саранчей истреблявших серые страницы советской бумаги, [а] также... советские кредитные билеты.

И в самом деле: что было им до того, что вся пресловутая “пролеткультура” в лучшем случае не поднималась выше убогого, детского подражания великим образцам культуры “буржуазной”: ведь для них вся суть дела была не в творчестве как таковом, но в той организации – экономической и классовой, – которая одна должна бы-

ла механически породить все неизреченное богатство чаемой “пролетарской культуры”.

Но тут пред нами вдруг раскрывается одно из поразительнейших противоречий павшего советского режима¹. Дело в том, что из строгого смысла материалистической теории Маркса логически вытекала пассивная, фаталистически покорная и терпеливая практика социального, политического и культурного творчества. Ведь, по учению Маркса, даже так называемая классовая психология и классовая идеология должны быть функцией экономических связей, т.е. лишены самостоятельного бытия и недостижимы для волевых усилий человеческой активности. В тиши глухой борьбы за хлеб насущный сами собой зреют в мире неотвратимые грозные силы, которые в один прекрасный день принесут повсеместное торжество нового экономического (коммунистического) строя и новую пролетарскую идеологию. Так гласит исповедание веры. Но не такова была печальной памяти практика коммунизма. В ней не было и следа фаталистической резиньции² перед великими экономическими силами, которые, по учению Маркса, держат в своих неумолимых руках судьбы мира. Напротив, вся работа коммунистов была пропитана яростным нетерпением, безумным лихорадочным чаянием того, что – по самому смыслу их веры – должно было прийти само по себе, “игрою внешних, чудных сил”, независимо от того напряжения воли, любви и ненависти – этой слепой игрушки могучих человеческих сил, правящих миром. Распаленным нетерпением большевистской психики объясняется весь пережитый нами, чуждый какого бы то ни было согласования с реальными условиями, политический и социальный максимализм; им же объясняется и максимализм в чаяниях неведомой новой пролетарской культуры.

Но так как чаяния не оправдались, и на нивах, политых кровью разъяренной классовой борьбы, не выросло никаких цветов, кроме кровавых цветов “Красного Евангелия”³, то поневоле большевикам пришлось создавать искусственные теплицы, где под опекой государственной коммунистической идеологии должно было искусственно взойти то, что не могло выйти естественным путем органического развития.

Так, в свете сознания собственной духовной немощи, возникла непостижимая и невероятная система государственного протекционизма над творчеством, систем декретизации, искусственного оплодотворения духовной культуры. Постепенно идея механистического предопределения культурного процесса стала вытесняться обратной идеей полной власти человеческого (большевистского, конечно!) разума над всем безграничным морем духовного творчества.

Со времен рационалистических воспитателей человечества эпохи Просвещения мир не видал еще такого фанатического напряжения веры во всемогущество человеческого разумного сознания!

И этот запоздалый рецедив рационализма каким-то непостижимым образом должен был уживаться с центральной монистической идеей марксизма – с идеей механистического “наслоения” ценностей, определяемого вовсе не человеческим разумом, но имманентной логикой бытийственного материального процесса!

Никогда еще симбиоз Гегеля и Маркса не приносил таких чуждых, ужасающе безкровных, лишенных творческого семени плодов. На все искусство, науку легла тяжелая рука изуверства, рассыпавшая сухой дождь из миллионов декретов, инструкций и листовок. В мертвой тишине, воцарившейся над некогда полнозвучным миром русской духовной культуры, раздавался тихий шелест бумаги и скрип казенных перьев.

И как неожиданно и необычайно ярко сверкнули в этой удушливой теме лирические откровения Александра Блока, Клюева и Есенина! Живое опровержение “государственного коммунистического рационализма”, тесными узам спаянные со всем многовековым прошлым русской поэтической культуры, замечательные творения этих поэтов были, однако, немедленно экспропрированы большевистским государством и использованы для ужасающей идеи государственно-коммунистического разведения культуры. А везде и всюду поспешающие Ивановы-Разумники написали “философские” статьи, из которых русское общество должно было узнать, что синица уже зажгла море и что наступила и прочно вселилась в мир новая – “пролетарская культура”.

Но по мере того как туча “декретов о творчестве” все темнее и темнее нависала над руинами русской культуры, а навстречу ей снизу все выше и выше поднималась гора исписанной “пролетпоэтами” бумаги, становилось ясно, что вся эта машина огосударствления духовной культуры обречена в самом корне на неудачу, что она находится в самом резком противоречии с тем понятием о творчестве и о культуре, к которому все ближе и ближе подходит испытующая философская мысль современности.

С этой точки зрения мы и произносим свой беспощадный суд над всеми теми явлениями, которые в таком изобилии свершались на наших глазах в роковую годину великого пленения русской культуры.

Интерес к творчеству как таковому, свободное от предрассудков рационалистического и механистического миросозерцания исследование, идущее от поверхности великолепного и таинственного феномена культуры ко внутреннему сокровенному его смыслу, идея органической структурности всего духовного творчества – вот первые основания избранного нами пути.

И первая, неотложнейшая задача – раскрепощение всей духовной культуры из губительного, смертного пленения, в которое ее ввергло безумие современного коммунистического рационализма и механистического марксистского идолослужения.

Киев, август 1919 г.